

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА

*Материал для актерской импровизации
по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот»*
Инсценировка: Анджей Вайда, Мацей Карпинский

Предлагаемый текст с трудом можно назвать «инсценировкой» романа Достоевского в общепринятом смысле слова. «Настасья Филипповна» была задумана прежде всего как актерская импровизация, и эта концепция повлияла на форму литературной записи. Это всего лишь каркас спектакля, содержащий только основной текст, который в процессе театральной работы может, и даже должен быть подвергнут преобразованиям, многократным умножениям, разнообразным повторениям, каждое из которых станет отдельным интерпретационным предложением.

Как спектакль «Настасья Филипповна» должна быть подчинена логике возбужденного сознания героев. Такого рода логика, само собой, не поддается линейной записи. Поэтому — повторюсь еще раз — предлагаемый текст представляет собой не полную запись актерских «ролей», а лишь самый основной материал, на котором роли эти могут быть надстроены. Конечно, это не исключает использования в работе над спектаклем других фрагментов романа.

Существенно, однако, то, что в предлагаемом тексте к Достоевскому не было приписано ни единого слова. Используются исключительно слова автора («Идиота»).

Также ремарки являются лишь попыткой предложить наиболее общие и основные постановочные решения, что даст возможность ориентации во время чтения. В работе над спектаклем придерживаться их не обязательно.

В этой импровизации актеры, получающие на руки не только текст инсценировки, но и весь роман Достоевского, создают собственно спектакль, надстраивая на литературном тексте свои эмоции, переживания и настроения. Постоянными элементами являются исходная ситуация, основная драматургическая линия спектакля и сценические условия. Исходя из этого, можно предложить такую версию «Настасьи», которая (будучи всегда новой и оригинальной) передаст мысль Достоевского, и в то же время настроение его романа, а также содержащийся в этом тексте постановочный замысел.

Рогожин сидит на диване. Князь Мышкин — по другую сторону письменного стола, на стуле. Рогожин произносит бессвязный монолог так, будто бы он говорил сам с собой. Нить его рассказа рвется, в нем нет логической последовательности (поэтому ниже следующий текст является лишь примером; актер, располагая полным материалом романа, может произвольно преобразовать его). Князь Мышкин молчит.

Рогожин. Я тогда, князь, в третьегоднейшей отцовской бекеше через Невский перебежал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и проггло. Настасья. Филипповна. Фамилией Барашкова. И тоже в своем роде княгиня... Встречаю Залежева. Тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах, да на постных щах отличались.

На утро покойник дает мне два пятипроцентные билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь; буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин, да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в каждой, эдак почти как по ореху будут. С подвесками я к Залежеву: так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне...

Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам, ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, а Залежев говорит: «от Парфена, дескать, Рогожина вам в память встречи вчерашнего дня; соблаговолите принять».

«Благодарите, говорит, вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание».

Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю: «ведь уж все равно». Как-то я теперь отцу отчет отдавать буду? Ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживывал.

Как? И ты тут, князь? Все в штиблетишках, э-эх! А, вот он, Иуда! Здравствуй, Ганька, подлец! Что, не ждал Рогожина? Ну... Ответишь же ты мне теперь! Не узнаешь? Да покажи я тебе три целковых, вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними доползешь на карачках, — вот ты каков! Душа твоя такова! Я и теперь тебя за деньги приехал всего купить. Настасья Филипповна! Не прогоните, скажите словцо: венчаетесь вы с ним или нет?

Князь, душа ты моя, брось их; плюнь им, поедем! Узнаешь, как любит Рогожин!

Моя! Все мое! Королева! Конец! Не подходи!

Да что ты орешь-то! Я еще у себя хозяйка; захочу, еще тебя в толчки выгоню. Я не взяла еще с тебя денег-то, вон они лежат; давай их сюда, всю пачку! Это в этой-то пачке сто тысяч? Рогожин, готов?

Готово, не подходи! Тройки ждут с колокольчиками!

Рогожин, доползет он на Васильевский за три целковых?

Доползет!

Прочь! Ганя! Не стыдись! Полезай! Твое счастье! Эй, сгорят, тебя же застыдят, ведь после повесишься, я не шучу! Сгорят!

«Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты думала, что я уж и повенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия? Вот сейчас при тебе крикну: «Уйди, Рогожин!» а князю скажу: «помнишь, что ты обещал?» Господи! Да для чего же я себя так унизила пред ними? Да не ты ли же, князь, меня сам уверял, что пойдешь за мною, что бы ни случилось со мной, и никогда меня не покинешь; что ты меня любишь, и все мне прощаешь и меня у... ува... жа... ешь...»

«Вот он, смотри! Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, то бери же его себе, уступаю, мне его не надо!... Мой! Мой! Ушла гордая барышня?»

«Ха-ха-ха! Я его этой барышне отдавала! Да зачем? Для чего? Сумасшедшая! Сумасшедшая!...»

«Поди прочь, Рогожин, ха-ха-ха!»

«Спаси меня, Рогожин! Увези меня! Куда хочешь, сейчас!»

На железную дорогу! Вот тебе сто рублей, а поспеешь к машине, так еще сторублевую! На железную дорогу! Моя!

Офицера-то, офицера-то... помнишь, как она офицера того, на музыке, хлестнула, помнишь, ха, ха, ха! Еще кадет... кадет... кадет подскочил...

Минутная тишина. Наконец заговаривает князь Мышкин, словно бы с усилием.

Мышкин. Настасья Филипповна разве у тебя?

Рогожин *(вдруг приходит в себя, словно разбуженный)*. У меня.

Мышкин. А давеча это ты в окно на меня из-за гардины смотрел?

Рогожин. Я...

Мышкин. Как же ты...

Рогожин. Вот ты как давеча ко мне зазвонил, я тотчас здесь и догадался, что это ты самый и есть; подошел к дверям на цыпочках, и слышу, что ты с Пафнутьевой разговариваешь, а я уж той чем свет заказал: если ты, или от тебя кто, али кто бы то ни был, начнет ко мне стучать, так чтобы не сказываться ни под каким видом; а особенно если ты сам придешь меня спрашивать, и имя твое ей объявил. А потом, как ты вышел, мне пришло в голову: что если он тут теперь стоит и выглядывает, али сторожит чего с улицы? Подошел я к этому самому окну, отвернул гардину-то, глядь, а ты там стоишь, прямо на меня смотришь... Вот как это дело было.

Мышкин. Где же... Настасья Филипповна?

Рогожин. Она... здесь.

Мышкин. Ты бы свечку зажег?

Рогожин. Нет, не надо. Садись, посидим пока! Я так и знал, что ты в эфтом же трактире остановишься. Как в коридор зашел, то и подумал: а ведь, может, и он сидит, меня ждет теперь, как я его, в эту же самую минуту? У учительши-то был?

Мышкин. Был.

Рогожин. Я и об том подумал. Еще разговор пойдет, думаю... а потом еще думаю: я его ночевать сюда приведу, так чтоб эту ночь вместе...

Мышкин. Рогожин! Где Настасья Филипповна?

Рогожин (*указывает на портьеру*). Там.

Мышкин. Спит?

Рогожин. Аль уж пойдем!.. Только ты... ну, да пойдем!

Рогожин доводит Мышкина до самой портьеры. Когда Мышкин заходит за нее, Рогожин быстро возвращается и садится на прежнее место.

Мышкин. Тут темно.

Рогожин. Видать.

Мышкин. Я чуть вижу... кровать.

Рогожин. Подойди ближе-то.

Князь Мышкин выходит, неподвижно стоит возле портьеры, держась за ее край.

Рогожин. Ты вот, я замечаю, Лев Николаевич, дрожишь, почти так, как когда с тобой бывает твое расстройство, помнишь, в Москве было? Или как раз было перед припадком. И не придумаю, что теперь с тобой буду делать...

Мышкин. Это ты?

Рогожин. Это... я... Потому, потому как если твоя болезнь, и припадок, и крик теперь, то, пожалуй, с улицы, аль со двора кто и услышит, и догадаются, что в квартире ночуют люди; станут стучать, войдут... потому они все думают, что меня дома нет. Я и свечи не зажег, чтобы с улицы, аль со двора не догадались. Потому, когда меня нет, я и ключи увожу, и никто без меня по три, по четыре дня и прибирать не входит, таково мое заведение. Так вот, чтоб не узнали, что мы заночуем...

Мышкин. Постой, я давеча и дворника, и старушку спрашивал: не ночевала ли Настасья Филипповна? Они, стало быть, уже знают.

Рогожин. Знаю, что ты спрашивал. Я Пафнутьевне сказал, что вчера захала Настасья Филипповна и вчера же в Павловск уехала, а что у меня десять минут пробыла. И не знают они, что она ночевала — никто. Вчера мы так же вошли, совсем потихоньку, как сегодня с тобой. Я еще про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить, — куды! Шепчет, на цыпочках пришла, платье обобрала около себя, чтобы не шумело, в руках несет, мне сама пальцем на лестнице грозит, — это она тебя все пужалась. На машине как сумасшедшая совсем была, все от страху, и сама сюда ко мне пожелала заночевать; я думал сначала на

квартиру к учительше везти, — куды! «Там он меня, говорит, чем свет разыщет, а ты меня скроешь, а завтра чем свет в Москву», а потом в Орел куда-то хотела. И ложилась, все говорила, что в Орел поедем...

Мышкин (*сползая на стул возле портьеры*). Постой; что же ты теперь, Парфен, как же хочешь?

Рогожин. Да вот сумлеваюсь на тебя, что ты все дрожишь. Ночь мы здесь заночуем, вместе. Постели, окромя той, тут нет, а я так придумал, что с обоих диванов подушки снять, и вот тут, у занавески, рядом и постелю, и тебе и мне, так чтобы вместе. Потому, коли войдут, станут осматривать, али искать, ее тотчас увидят и вынесут. Станут меня опрашивать, я расскажу, что я, и меня тотчас отведут. Так пусть уж она теперь тут лежит подле нас, подле меня и тебя...

Мышкин. Да, да!

Рогожин. Значит не признаваться и выносить не давать.

Мышкин. Ни-ни за что! Ни-ни-ни!

Рогожин. Так я и порешил, чтоб ни за что, парень, и никому не отдавать! Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на час один и из дому вышел, поутру, а то все при ней был. Да потом по вечеру за тобой пошел. Боюсь вот тоже еще, что душно, и дух пойдет. Слышишь ты дух или нет?

Мышкин. Может и слышу, не знаю. К утру наверно пойдет.

Рогожин. Я ее клеенкой накрыл, хорошею, американскою клеенкой, а сверх клеенки уж простыней, и четыре склянки ждановской жидкости откупоренной поставил, там и теперь стоят.

Мышкин. Да.

Рогожин. Потому, брат, дух. А она ведь как лежит... К утру, как посветлеет, посмотри. Что ты, и встать не можешь?

Мышкин. Ноги нейдут. Это от страху, это я знаю... Пройдет страх, я и стану...

Рогожин (*встает и переносит Мышкина, как ребенка, на диван, говоря*). Постой же, я пока нам постель постелю, и пусть уж ты ляжешь... и я с тобой... и будем слушать... потому я, парень, еще не знаю... я, парень, еще всего не знаю теперь, так и тебе заранее говорю, чтобы ты все про это заранее знал... Потому оно, брат, ноне жарко, и известно, дух... Окна я отворять боюсь; а есть у матери горшки с цветами, много цветов, и прекрасный от них такой дух; думал перенести, да Пафнутьевна догадается, потому она любопытная.

Мышкин. Она любопытная...

Рогожин. Купить разве... — пукетами и цветами всю обложить? Да думаю, жалко будет, парень, в цветах-то!

Мышкин. Слушай... слушай, скажи мне: чем ты ее? Ножом? Тем самым?

Рогожин. Тем самым...

Мышкин. Стой еще! Я, Парфен, еще хочу тебя спросить... я много буду тебя спрашивать, обо всем... но ты лучше мне сначала скажи, с первого начала, чтоб я знал: хотел ты убить ее перед свадьбой, перед венцом, на паперти, ножом? Хотел или нет?

Рогожин. Не знаю, хотел или нет...

Мышкин. Ножа с собой никогда в Павловск не привозил?

Рогожин. Никогда не привозил. Я про нож этот только вот что могу тебе сказать, Лев Николаевич. Я его из запертого ящика ноне утром достал, потому что все дело было утром, в четвертом часу. Он у меня все в книге заложен лежал... И... и... и вот еще, что мне чудно: совсем нож как бы на полтора... али даже на два вершка прошел... под самую левую грудь... а крови всего этак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло; больше не было...

Мышкин. Это, это, это... это, это я знаю, это я читал... это внутреннее излияние называется... Бывает, что даже и ни капли. Это коль удар прямо в сердце...

Рогожин. Стой, слышишь? Слышишь?

Мышкин. Нет!

Рогожин. Ходит! Слышишь? В зале...

Мышкин. Слышу.

Рогожин. Ходит?

Мышкин. Ходит.

Рогожин. Затворить, али нет дверь?

Мышкин. Затворить...

Рогожин бежит к двери зала и запирает ее на ключ; ключ прячет в карман. Тем временем князь тоже встает, начинает нервно ходить по комнате, словно что-то ищет. Рогожин возвращается на диван. Минуту спустя Мышкин останавливается на середине комнаты.

Мышкин. Ах, да! Да... я ведь хотел... эти карты! карты... Ты, говорят, с нею в карты играл?

Рогожин. Играл.

Мышкин. Где же... карты?

Рогожин. Здесь карты... вот... *(Протягивает ему карты, внезапно раздражается смехом.)* Офицера-то, офицера-то... помнишь, как она офицера того, на музыке, хлестнула, помнишь, ха, ха, ха! Еще кадет... кадет... кадет подскочил...

Мышкин подбегает к Рогожину, который начинает бредить в горячке, вытирает ему лоб, пытается успокоить. Через какое-то время Рогожин успокаивается. Мышкин встает и снова принимается ходить по комнате. Наконец обращается к Рогожину так, будто бы начинал обьяновенный, совершенно новый разговор.

Мышкин. Парфен, может, я некстати, я ведь и уйду.

Рогожин. Кстати! кстати! Что ты так смотришь пристально? Садись!

Мышкин (*садится на стул*). Парфен, скажи мне прямо, знал ты, что я приеду сегодня в Петербург, или нет?

Рогожин. Что ты приедешь, я так и думал, и видишь, не ошибся, но почему я знал, что ты сегодня приедешь?

Мышкин. Да хоть бы и знал, что сегодня, из-за чего же так раздражаться?

Рогожин. Да ты к чему спрашиваешь-то?

Мышкин. Давеча, выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких же глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня.

Рогожин. Вона! Чьи же были глаза-то?

Мышкин. Не знаю; в толпе, мне даже кажется, что померещилось; мне начинает все что-то мерещиться. Я, брат Парфен, чувствую себя почти в роде того, как бывало со мной лет пять назад, еще когда припадки приходили.

Рогожин. Что ж, может и померещилось; я не знаю... (*Встает, обходит вокруг стола. Внезапно меняет тон, словно изображая кого-нибудь другого.*) Что ж, опять за границу, что ли? А помнишь, как мы в вагоне, по осени, из Пскова ехали, я сюда, а ты... в плаще-то, помнишь, штиблетигишки-то? Зябка?

Мышкин (*подхватывая его тон*). Очень. И заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.

Рогожин. Из-за границы что ль?

Мышкин. Да, из Швейцарии.

Рогожин. Фью! Эх ведь вас!.. Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим.

Мышкин. О, как вы в моем случае ошибаетесь. Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да два почти года там на свой счет содержал.

Рогожин. Что же, вылечили? (*Хохочет.*)

Мышкин (*другим тоном*). Ты здесь совсем поселился?

Рогожин. Да, я у себя. Где же мне и быть-то?

Мышкин. Давно мы не видались. Про тебя я такие вещи слышал, что как будто и не ты.

Рогожин. Мало ли что не расскажут.

Мышкин. Однако же ты всю компанию разогнал; сам вот в родительском доме сидишь, не проказишь. Что ж, хорошо. Дом-то твой или ваш общий, всех наследников?

Рогожин. Дом матушкин. К ней сюда чрез коридор.

Мышкин. А где брат твой живет?

Рогожин. Брат Семен Семеныч во флигеле.

Мышкин. Семейный он?

Рогожин. Вдовый. Тебе для чего это надо?

Мышкин. Я твой дом сейчас, подходя, за сто шагов угадал.

Рогожин. Почему так?

Мышкин. Не знаю совсем. Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни, а спроси, почему я этак заключил, — ничем объяснить не могу. Бред, конечно. Даже боюсь, что это меня так беспокоит. Прежде и не вздумал бы, что ты в таком доме живешь, а как увидел его, так сейчас и подумалось: «Да ведь такой точно у него и должен быть дом!»

Рогожин. Вишь! Этот дом еще дедушка строил.

Мышкин (*встает, осматривается*). Мрак-то какой. Мрачно ты сидишь. (*Рассматривает портрет.*) Это уж не отец ли твой?

Рогожин. Он самый и есть. Чуть меня когда-то до смерти не убил... Это вот его кабинет и был.

Мышкин. Свадьбу-то здесь справлять будешь?

Рогожин. З-здесь. Здесь.

Мышкин. Скоро у вас?

Рогожин. Сам знаешь, от меня ли зависит?

Мышкин (*встает, подходит вплотную к Рогожину*). Парфен, я тебе не враг и мешать тебе ни в чем не намерен. (*Рогожин отодвигается от него.*) Это я теперь повторяю так же, как заявлял и прежде, один раз, в такую же почти минуту. Когда в Москве твоя свадьба шла, я тебе не мешал, ты знаешь. В первый раз она сама ко мне бросилась, чуть не из-под венца, прося «спасти» ее от тебя. Я ее собственные слова тебе повторяю. Потом и от меня убежала; ты опять ее разыскал и к венцу повел, и вот, говорят, она опять от тебя убежала сюда. Правда ли это? Мне так Лебедев дал знать, я потому и приехал. А о том, что у вас опять здесь сладилось, я только вчера в вагоне в первый раз узнал от одного из твоих прежних приятелей, от Залежева, если хочешь знать. Ехал же я сюда, имея намерение: я хотел ее, наконец, уговорить за границу поехать для поправления здоровья; она очень расстроена и телом, и душой, головой особенно, и, по-моему, в большом уходе нуждается. Сам я за границу ее сопровождать не хотел, а имел в виду все это без себя устроить. Говорю тебе истинную правду. Если совершенная правда, что у вас опять это дело сладилось, то я и на глаза ей не покажусь, да и к тебе больше никогда не приду. Ты сам знаешь, что я тебя не обманываю, потому что всегда был откровенен с тобой. Своих мыслей об этом я от тебя никогда не скрывал и всегда говорил, что за тобою ей непременно гибель. Тебе тоже гибель... может быть, еще пуще чем ей. Если бы вы опять разошлись, то я был бы очень доволен: не расстраивать и разлаживать вас сам я не намерен. Будь же спокоен и не подозревай меня. Да и сам ты знаешь: был ли я когда-нибудь твоим настоящим соперником.

даже и тогда, когда она ко мне убежала. Да, мы жили там розно и в разных городах, и ты все это знаешь наверно. Я ведь тебе уж и прежде растолковал, что я ее «не любовью люблю, а жалостью». Я думаю, что я это точно определяю. Ты говорил тогда, что эти слова мои понял; правда ли? понял ли? Вон как ты ненавистно смотришь! Я тебя успокоить пришел, потому что и ты мне дорог. Я очень тебя люблю, Парфен. А теперь уйду и никогда не приду. Прощай.

Мышкин направляется к двери. Он уже почти берет за ручку, когда Рогожин тихо обращается к нему.

Рогожин. Посиди со мной. Я тебя давно не видал.

Мышкин возвращается. Оба садятся за небольшой столик. Сидят близко друг к другу, почти соприкасаясь коленями.

Рогожин. Я, как тебя нет предо мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич. В эти три месяца, что я тебя не видал, каждую минуту на тебя злобился, ей-богу. Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь! Вот как. Теперь ты четверти часа со мной не сидишь, а уж вся злоба моя проходит, и ты мне опять по-прежнему люб. Посиди со мной...

Мышкин. Когда я с тобой, то ты мне веришь, а когда меня нет, то сейчас перестаешь верить и опять подозреваешь. В батюшку ты!

Рогожин. Я твоему голосу верю, как с тобой сижу. Я ведь понимаю же, что нас с тобой нельзя равнять, меня да тебя...

Мышкин. Зачем ты это прибавил? И вот опять раздражился.

Рогожин (*стремительно встает. Говорит, расхаживая по камнате*). Да уж тут, брат, не нашего мнения спрашивают — тут без нас положили. Мы вот и любим тоже по-розно, во всем, то есть, разница. Ты вот жалостью, говоришь, ее любишь. Никакой такой во мне нет к ней жалости. Да и ненавидит она меня пуше всего. Она мне теперь во сне снится каждую ночь: все что она с другим надо мной смеется. Так оно, брат, и есть. Со мной к венцу идет, а и думать-то обо мне позабыла, точно башмак меняет. Веришь ли, пять дней ее не видал, потому что ехать к ней не смею; спросит: «зачем пожаловал?» Мало ли она меня срамила...

Мышкин. Как срамила? Что ты?

Рогожин. Точно не знает! Да ведь вот с тобою же от меня бежала «из-под венца», сам сейчас выговорил.

Мышкин. Ведь ты же сам не веришь, что...

Рогожин. Разве она с офицером, с Земтюжниковым, в Москве меня не срамила? Наверно знаю, что срамила, и уж после того, как венцу сама назначила срок.

Мышкин. Быть не может!

Рогожин. Верно знаю. Что, не такая ли, что ли? Это, брат, нечего и говорить, что не такая. Один это только вздор. С тобой она будет не такая, и сама,

пожалуй, такому делу ужаснется, а со мной вот именно такая. Ведь уж так. Как на последнюю самую шваль на меня смотрит. С Келлером, вот с этим офицером, что боксом дрался, так наверно знаю — для одного смеху надо мной сочинила... Да ты не знаешь еще, что она надо мной в Москве выдeldывала! А денег-то, денег сколько я перевел...

Мышкин. Да... как же ты теперь женишься!.. Как потом-то будешь?

Рогожин. Я теперь уж пятый день у ней не был. Все боюсь, что выгонит. Я, говорит, еще сама себе госпожа; захочу, так и совсем тебя прогоню, а сама за границу поеду (это уж она мне говорила, что за границу-то поедет); иной раз, правда, только пугает, все ей смешно на меня отчего-то. А в другой раз и в самом деле нахмурится, насупится, слова не выговорит; я вот этого-то и боюсь. Оно-нясь подумал: стану приезжать не с пустыми руками, — так только ее насмешил, а потом и в злость даже вошла. Горничной Катьке такую мою одну шаль подарила, что хоть и в роскоши она прежде жила, а может, такой еще и не видывала. А о том, когда венчаться, и заикнуться нельзя. Какой тут жених, когда и просто приехать боится? Вот и сижу, а невтерпеж станет, так тайком да крадучись мимо дома ее по улице и хожу, или за углом где прячусь. Оно-нясь чуть не до свету близ ворот ее продежурил, — померещилось что-то мне тогда. А она, знать, подглядывала в окошко: «что же бы ты, говорит, со мной сделал, кабы обман увидал?» Я не вытерпел, да и говорю: «сама знаешь».

Мышкин. Что же знает?

Рогожин. А почему и я-то знаю! В Москве я ее тогда ни с кем не мог изловить, хоть и долго ловил. Я ее тогда однажды взял да и говорю: «ты под венец со мной обещалась, в честную семью вступишь, а знаешь ты теперь кто такая? Ты, говорю, вот какая!»

Мышкин. Ты ей сказал?

Рогожин. Сказал.

Мышкин. Ну?

Рогожин (*опять садится*). «Я тебя, говорит, теперь и в лакеи-то к себе, может, взять не захочу, не то что женой твоей быть». — «А я, говорю, так не выйду, один конец!» — «А я, говорит, сейчас Келлера позову, скажу ему, он тебя за ворота и вышвырнет». Я и кинулся на нее, да тут же до синяков и избил.

Мышкин. Быть не может!

Рогожин. Говорю: было. Полторы сутки ровно не спал, не ел, не пил, из комнаты ее не выходил, на колени пред ней становился: «Умру, говорю, не выйду, пока не простишь, а прикажешь вывести — утоплюсь; потому — что я без тебя теперь буду?» Точно сумасшедшая она была весь тот день, то плакала, то убивать меня собиралась ножом, то ругалась надо мной. Залежева, Келлера и Земтожников, и всех созвала, на меня им показывает, срамит. «Поедьте, господа, всей

компанией сегодня в театр, пусть он здесь сидит, коли выйти не хочет, я для него не привязана. А вам здесь, Парфен Семеныч, чаю без меня подадут, вы, должно быть, проголодались сегодня». Воротилась из театра одна: «они, говорит, трусишки и подлещы, тебя боятся, да и меня пугают: говорят, он так не уйдет, пожалуй, зарежет. А я вот как в спальню пойду, так дверь и не запру за собой; вот как я тебя боюсь! Чтобы ты знал и видел это! Пил ты чай?» — «Нет, говорю, и не стану». — «Была бы честь приложена, а уж очень не идет к тебе это». И как сказала, так и сделала, комнату не заперла. На утро вышла — смеется: «Ты с ума сошел, что ли, говорит? Ведь этак ты с голоду помрешь?» — «Прости», говорю. — «Не хочу прощать, не пойду за тебя, сказано. Неужто ты всю ночь на этом кресле сидел, не спал?» — «Нет, говорю, не спал». — «Как умен-то! А чай пить и обедать опять не будешь?» — «Сказал: не буду — прости!» — «Уж как это к тебе не идет, говорит, если б ты только знал, как к корове седло. Уж не пугать ли ты меня вздумал? Экая мне беда какая, что ты голодный просидишь; вот испугал-то!» Рассердилась, да ненадолго, опять шпынять меня принялась. И подивился я тут на нее, что это у ней совсем этой злобы нет? А ведь она зло помнит, долго на других зло помнит! Тогда вот мне в голову и пришло, что до того она меня низко почитает, что и зла-то на мне большого держать не может. И это правда. «Знаешь ты, говорит, что такое папа римский?» — «Слыхал», говорю. — «Ты, говорит, Парфен Семеныч, истории всеобщей ничего не учился». — «Я ничему, говорю, не учился». — «Так вот я тебе, говорит, дам прочесть: был такой один папа, и на императора одного рассердился, и тот у него три дня не пивши, не евши, босой, на коленках, пред его дворцом простоял, пока тот ему не простил; как ты думаешь, что тот император в эти три дня, на коленках-то стоя, про себя передумал и какие зарюки давал?... Да постой, говорит, я тебе сама про это прочту!» Вскочила, принесла книгу: «это стихи», говорит, и стала мне в стихах читать о том, как этот император в эти три дня заклинаясь отомстить тому папе: «Неужели, говорит, это тебе не нравится, Парфен Семенович?» — «Это все верно, говорю, что ты прочла». — «Ага, сам говоришь, что верно, значит и ты, может, зарюки даешь, что: выйдет она за меня, тогда-то я ей все и припомню, тогда-то и натешусь над ней!» — «Не знаю, говорю, может, и думаю так». — «Как не знаешь?» — «Так, говорю, не знаю, не о том мне все теперь думается». — «А о чем же ты теперь думаешь?» — «А вот встанешь с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобою слежу; прошумит твое платье, а у меня сердце падает, а выйдешь из комнаты, я о каждом твоём словечке вспоминаю, и каким голосом и что сказала; а ночь всю эту ни о чем и не думал, все слушал, как ты во сне дышала, да как раза два шевельнулась...» — «Да ты, засмеялась она, пожалуй и о том, что меня избил, не думаешь и не помнишь?» — «Может, говорю, и думаю, не знаю.» — «А коли не прошу и за тебя не пойду?» — «Сказал, что утоплюсь». — «Пожалуй, еще убьешь перед этим...» Сказала и задумалась. Потом осердилась и вышла. Через

час выходит ко мне такая сумрачная: «Я, говорит, пойду за тебя, Парфен Семенович, и не потому что боюсь тебя, а все равно погибать-то. Где ведь и лучше-то? Садись, говорит, тебе сейчас обедать подадут. А коли выйду за тебя, прибавила, то я тебе верною буду женой, в этом не сомневайся и не беспокойся». Потом помолчала и говорит: «Все-таки ты не лакей; я прежде думала, что ты совершенный как есть лакей». Тут и свадьбу назначила, а через неделю к Лебедеву от меня и убежала сюда. Я как приехал, она и говорит: «Я от тебя не отрекаюсь совсем; я только подождать еще хочу, сколько мне будет угодно, потому я все еще сама себе госпожа. Жди и ты, коли хочешь». Вот как у нас теперь... Как ты обо всем этом думаешь, Лев Николаевич?

Мышкин. Сам как ты думаешь?

Рогожин. Да разве я думаю!

Мышкин. Я тебе все-таки мешать не буду.

Рогожин (*вскакивает, резко*). Знаешь, что я тебе скажу! Как это ты мне так уступаешь, не понимаю? Аль уж совсем ее разлюбил? Прежде ты все-таки был в тоске; я ведь видел. Так для чего же ты сломя-то голову сюда теперь прискакал? Из жалости?

Мышкин. Ты думаешь, что я тебя обманываю?

Рогожин. Нет, я тебе верю, да только ничего тут не понимаю. Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй, еще пуще моей любви!

Мышкин. Что же, твою любовь от злости не отличишь, а пройдет она, так, может, еще пуще беда будет. Я, брат Парфен, уж это тебе говорю...

Рогожин (*вскидывает голову*). Что зарезу-то?

Мышкин (*встает, подходит к Рогожину*). Ненавидеть будешь очень ее за эту же теперешнюю любовь, за всю эту муку, которую теперь принимаешь. Для меня всего чуднее то, как она может опять идти за тебя? Как услышал вчера — едва поверил, и так тяжело мне стало. Ведь уж два раза она от тебя отрекалась и из-под венца убегала, значит, есть же предчувствие!.. Что же ей в тебе-то теперь? Неужели твои деньги? Вздор это. Да и деньги-то, небось, сильно уж порастратил. Неужто чтобы только мужа найти? Так ведь она могла бы и кроме тебя найти. Всякого, кроме тебя, лучше, потому что ты и впрямь, пожалуй, зарежешь, и она уж это слишком, может быть, теперь понимает. Что ты любишь-то ее так сильно? Правда, вот это разве... Я слыхивал, что есть такие, что именно такой любви ищут... только... (*Замолкает, с усмешкой всматриваясь в портрет.*)

Рогожин. Что ты опять усмехнулся на отцов портрет?

Мышкин. Чего я усмехнулся? А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом.

ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно наживая. Да много-много, что старые бы книги когда похвалил, да дуперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости...

Р о г о ж и н. И вот точь-в-точь она это же самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала! Чудно как вы во всем заодно теперь...

М ы ш к и н. Да разве она уж была у тебя?

Р о г о ж и н. Была. *(Рассказывает, ходя по комнате.)* На портрет долго глядела, про покойника спрашивала. «Ты вот точно такой бы и был», усмехнулась мне под конец, «у тебя, говорит, Парфен Семеныч, сильные страсти, такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь, на каторгу, улетел, если б у тебя тоже ума не было, потому что у тебя большой ум есть», говорит (так и сказала, вот веришь или нет? В первый раз от нее такое слово услышал!). «Ты все это баловство теперешнее скоро бы и бросил. А так как ты совсем необразованный человек, то и стал бы деньги копить и сел бы, как отец, в этом доме с своими скопцами; пожалуй бы, и сам в их веру под конец перешел, и уж так бы ты свои деньги полюбил, что и не два миллиона, а, пожалуй бы, и десять скопил, да на мешках своих с голоду бы и помер, потому у тебя во всем страсть, все ты до страсти доводишь». Вот точно так и говорила, почти точь-в-точь этими словами. Никогда еще до этого она так со мной не говорила! Она ведь со мной все про вздоры говорит, али насмехается; да и тут смеясь начала, а потом такая стала сумрачная; весь этот дом ходила, осматривала, и точно пужалась чего. «Я все это переменю, говорю, и отделаю, а то и другой дом к свадьбе, пожалуй, куплю». — «Ни-ни, говорит, ничего здесь не переменять, так и будем жить. Я подле твоей матушки, говорит, хочу жить, когда женой твоею стану». Повел я ее к матушке, — была к ней почтительна, как родная дочь. Матушка и прежде, вот уже два года, точно как бы не в полном рассудке сидит (больная она), а по смерти родителя и совсем как младенцем стала, без разговору: сидит без ног и только всем, кого увидит, с места кланяется; кажись, не накорми ее, так она и три дня не спохватится. *(Подходит к стулу в углу, делает движения, будто бы там сидела матушка.)* Я матушкину правую руку взял, сложил: «Благословите, говорю, матушка, со мной к венцу идет»; так она у матушки руку с чувством поцеловала. «Много, говорит, верно, твоя мать горя перенесла». *(Берет книгу, лежащую на письменном столе.)* Вот эту книгу у меня увидала: «Что это ты, «Русскую историю» стал читать? (А она мне и сама как-то раз в Москве говорила: «Ты бы образил себя хоть бы чем, хоть бы «Русскую историю» Соловьева прочел, ничего-то ведь ты не знаешь».) Это ты хорошо, сказала, так и делай, читай. Я тебе реестрик сама напишу, какие тебе книги перво-наперво надо прочесть; хочешь иль нет?» *(Возвращается, снова садится напротив князя.)* И никогда-то, никогда прежде она со мной так не говорила, так что даже удивила меня; в первый раз как живой человек вздохнул.

М ы ш к и н. Я этому очень рад, Парфен, очень рад. Кто знает, может, Бог вас и устроит вместе.

Р о г о ж и н (*вскакивает*). Никогда не будет того!

М ы ш к и н. Слушай, Парфен, если ты так ее любишь, неужто не захочешь ты заслужить ее уважение? А если хочешь, так неужели не надеешься? Вот я давеча сказал, что для меня чудная задача: почему она идет за тебя? Но хоть я и не могу разрешить, но все-таки несомненно мне, что тут непременно должна же быть причина достаточная, рассудочная. В любви твоей она убеждена; но наверно убеждена и в некоторых твоих достоинствах. Иначе быть ведь не может! То, что ты сейчас сказал, подтверждает это. Сам ты говоришь, что нашла же она возможность говорить с тобой совсем другим языком, чем прежде обращалась и говорила. Ты мнителен и ревнив, потому и преувеличил все, что заметил дурного. Уж конечно, она не так дурно думает о тебе, как ты говоришь. Ведь иначе значило бы, что она сознательно в воду или под нож идет, за тебя выходя. Разве может быть это? Кто сознательно в воду или под нож идет? Как ты тяжело смотришь теперь на меня, Парфен!

Р о г о ж и н. В воду или под нож! Хе! Да потому-то и идет за меня, что наверно за мной нож ожидает! Да неужто уж ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился, в чем тут все дело?

М ы ш к и н. Не понимаю я тебя.

Р о г о ж и н. Что ж, может, и впрямь не понимает, хе-хе! Говорят же про тебя, что ты... *того*. Другого она любит, — вот что пойми! Точно так, как ее люблю теперь, точно так же она другого теперь любит. А другой этот, знаешь ты кто? Это ты! Что, не знал что ли?

М ы ш к и н. Я!

Р о г о ж и н. Ты. Она тебя тогда, с тех самых пор, с именин-то, и полюбила. Только она думает, что выйти ей за тебя невозможно, потому что она тебя будто бы опозорит и всю судьбу твою сгубит. «Я, говорит, известно какая». До сих пор про это сама утверждает. Она все это мне сама так прямо в лицо и говорила. Тебя сгубить и опозорить боится, а за меня, значит, ничего, можно выйти, — вот каково она меня почитает, это тоже заметь!

М ы ш к и н. Да как же она от тебя ко мне бежала, а... от меня...

Р о г о ж и н. А от тебя ко мне! Хе! Да мало ли что войдет ей вдруг в голову! Она вся точно в лихорадке теперь. То мне кричит: «За тебя как в воду иду. Скорей свадьбу!» Сама торопит, день назначает, а станет подходить время — испугается, али мысли другие пойдут — Бог знает, ведь ты видел же: плачет, смеется, в лихорадке бьется. Да что тут чудного, что она и от тебя убежала? Она от тебя и убежала тогда, потому что сама спохватилась, как тебя сильно любит. Ей не под силу у тебя стало. Ты, вот, сказал давеча, что я ее тогда в Москве разыскал: неправда — сама ко мне от тебя прибежала: «Назначь день, говорит, я готова! Шампанского давай! К цыганкам едем!» — кричит!.. Да не было бы меня, она

давно бы уж в воду кинулась; верно говорю. Потому и не кидается, что я, может, еще страшнее воды. Со зла и идет за меня... коли выйдет, так уж верно говорю, что со зла выйдет.

Мышкин. Да как же ты... как же ты...

Рогожин. Что же ты не доканчиваешь? А хочешь скажу, что ты вот в эту самую минуту про себя рассуждаешь: «ну, как же ей теперь за ним быть? Как ее к тому допустить?» Известно, что думаешь...

Мышкин. Я не за тем сюда ехал, Парфен, говорю тебе, не то у меня в уме было...

Рогожин (*встает, подходит к письменному столу*). Это может, что не за тем, и не то в уме было, а только теперь оно уж наверно стало за тем, хе-хе! Ну, довольно! Что ты так опрокинулся? Да неужто ты и впрямь того не знал? Дивишь ты меня!

Мышкин (*подходя к Рогожину*). Все это ревность, Парфен, все это болезнь, все это ты безмерно преувеличил...

Говоря это, машинально вынимает из лежащей на столе книги нож и начинает вертеть его.

Рогожин бросается к нему и выхватывает нож у него из рук.

Мышкин. Чего ты?

Рогожин. Оставь. (*Кладет нож на прежнее место.*)

Мышкин. Я как будто знал, когда въезжал в Петербург, как будто предчувствовал... не хотел я ехать сюда! Я хотел все это здешнее забыть, из сердца прочь вырвать! Ну, прощай... (*Опять машинально вертит нож, Рогожин выхватывает его во второй раз.*) Да что ты! (*Спустя несколько секунд.*) Ты листы, что ли, им разрезаешь?

Рогожин. Да, листы...

Мышкин. Это ведь садовый нож?

Рогожин. Да, садовый. Разве садовым нельзя разрезать листы?

Мышкин. Да он... совсем новый.

Рогожин. Ну, что ж что новый? Разве я не могу сейчас купить новый нож?

Мышкин (*с улыбкой*). Эх ведь мы! (*Направляется к выходу, говорит, остановившись на середине комнаты.*) Извини, брат, меня, когда у меня голова так тяжела, как теперь, и эта болезнь... я совсем, совсем становлюсь такой рассеянный и смешной. Я вовсе не об этом и спросить-то хотел... не помню о чем. Прощай... (*Идет к двери.*)

Рогожин (*удерживает его*). Не сюда.

Мышкин. Забыл! (*Поворачивает назад.*)

Рогожин (*со смехом указывает в противоположном направлении*). Сюда, сюда.

Мышкин опять идет обратно, но на полпути останавливается, всматривается в висящую над дверью картину (Гольбейн, «Положение Христа во гроб»).

Рогожин встает и подходит к нему.

Рогожин. Вот эти все здесь картины — все за рубль, да за два на аукционах куплены батюшкой покойным, он любил. Их один знающий человек все здесь пересмотрел; дрянь, говорит, а вот эта — вот картина, над дверью, тоже за два целковых купленная, говорит, не дрянь. Еще родителю за нее один выискался, что триста пятьдесят рублей давал, а Савельев Иван Дмитрич, из купцов, охотник большой, так тот до четырехсот доходил, а на прошлой неделе брату Семену Семеньчу уж и пятьсот предложил. Я за собой оставил.

Мышкин. Да это... это копия с Ганса Гольбейна. И хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу. Но... что же ты...

Рогожин. А что, Лев Николаич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет?

Мышкин. Как ты странно спрашиваешь и... глядишь?

Рогожин. А на эту картину я люблю смотреть.

Мышкин. На эту картину! На эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!

Рогожин. Пропадает и то.

Мышкин. Как? Да что ты! Я почти шутил, а ты так серьезно! И к чему ты меня спросил: верую ли я в Бога?

Рогожин. Да ничего, так. Я и прежде хотел спросить. Многие ведь ноне не веруют. А что, правда (ты за границей-то жил), — мне вот один с пьяных глаз говорил, что у нас, по России, больше чем во всех землях таких, что в Бога не веруют? «Нам, говорит, в этом легче чем им, потому что мы дальше их пошли...»

Мышкин (*слушает рассеянно, опять направляется к двери*). Прощай же.

Рогожин. Прощай.

Мышкин (*внезапно оборачивается*). А насчет веры... насчет веры я, на прошлой неделе, в два дня четыре разные встречи имел. Утром ехал по одной новой железной дороге и часа четыре с одним С-м в вагоне проговорил, тут же и познакомился. Я еще прежде о нем много слыхивал, и между прочим, как об атеисте. Он человек действительно очень ученый, и я обрадовался, что с настоящим ученым буду говорить. Сверх того, он на редкость хорошо воспитанный человек, так что со мной говорил совершенно как с ровным себе, по познаниям и по понятиям. В Бога он не верует. Одно только меня поразило: что он вовсе как будто не про то говорил, во все время, и потому именно поразило, что и прежде, сколько я ни встречался с неверующими и сколько ни читал таких книг, все мне казалось, что и говорят они, и в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду

и кажется, что про то. Я это ему тогда же и высказал, но, должно быть, неясно, или не умел выразить, потому что он ничего не понял... Вечером я остановился в уездной гостинице переночевать, и в ней только что одно убийство случилось, в прошлую ночь, так что все об этом говорили, когда я приехал. Два крестьянина и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе в одной каморке ложиться спать. Но один у другого подглядел. в последние два дня, часы, серебряные, на бисерном желтом шнулке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный, и, по крестьянскому быту, совсем не бедный. Но ему до того понравились эти часы и до того соблазнили его, что он наконец не выдержал: взял нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькою молитвой: «Господи, прости ради Христа!» — зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы.

Р о г о ж и н (разражается хохотом. Покачивается со смеху. Падает в крест). Вот это я люблю! Нет, вот это лучше всего! Один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по молитве... Нет, этого, брат-князь, не выдумаешь! Ха-ха-ха! Нет, это лучше всего!..

М ы ш к и н (продолжает, все более возбужденно). На утро я вышел по городу побродить. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат, в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне: «Купи, барин, крест серебряный, всего за двугривенный отдаю; серебряный!» Вижу в руке у него крест и, должно быть, только что снял с себя, на голубой, крепко заношенной ленточке, но только настоящий оловянный, с первого взгляда видно, большого размера, осмиконечный, полного византийского рисунка. Я вынул двугривенный и отдал ему, а крест тут же на себя надел, — и по лицу его видно было, как он доволен, что надул глупого барина, и тотчас же отправился свой крест пропивать, уж это без сомнения. Я, брат, тогда под самым сильным впечатлением был всего того, что так и хлынуло на меня на Руси; ничего-то я в ней прежде не понимал, точно бессловесный рос, и как-то фантастически вспоминал о ней в эти пять лет за границей. Вот иду я да и думаю: нет, этого хриstopродавца подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается. Чрез час, возвращаясь в гостиницу, наткнулся на бабу с грудным ребенком. Баба еще молодая, ребенку недель шесть будет. Ребенок ей и улыбнулся, по наблюдению ее, в первый раз от своего рождения. Смотрю, она так набожно, набожно вдруг перекрестилась. «Что ты, говорю, молодка?» (Я ведь тогда все расспрашивал.) «А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку приметит, такая же точно бывает и у Бога радость, всякий раз, когда Он с неба завидит, что грешник пред Ним от всего своего сердца на молитву становится». Это мне баба сказала, почти этими же словами, и такую глубокую, такую тонкую и истинно-религиозную мысль, такую мысль, в которой вся сущность христианства

разом выразилась, то есть все понятие о Боге, как о нашем родном отце и о радости Бога на человека, как отца на свое родное дитя — главнейшая мысль Христова! Простая баба! Правда, мать... и, кто знает, может, эта баба женой тому же солдату была.

Князь Мышкин, все более взволнованный, говорит, ходя кругами по комнате. Рогожин, не спуская с него глаз, медленно опускается на колени и начинает молиться, бия себя в грудь. Когда Мышкин проходит мимо него, он обнимает его за пояс и ползет за ним на коленях.

Проходя возле стола, незаметно берет с него нож и продолжает ползти на коленях, держа нож за спиной.

Мышкин. Слушай, Парфен, ты давеча спросил меня, вот мой ответ: сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь, и вот мое заключение! Это одно из самых первых моих убеждений, которые я из нашей России выношу. Есть что делать, Парфен! Есть что делать на нашем русском свете, верь мне! Припомни, как мы в Москве сходились и говорили с тобой одно время... И совсем не хотел я сюда возвращаться теперь! И совсем, совсем не так думал с тобой встретиться!.. Ну, да что!.. прощай, до свиданья! Не оставь тебя Бог!

В этот момент Рогожин вскакивает и бросается на князя с ножом. Тело Мышкина сотрясает судорога. Оба падают на пол. Князь Мышкин выпягивается в приступе эпилепсии. Рогожин опускает нож. Они лежат на полу друг возле друга. Через некоторое время приступ проходит. Спустя минуту Рогожин встает. Говорит равнодушным тоном.

Рогожин. Лев Николаевич! Крест тот, что у солдата купил, при тебе?

Мышкин *(вставая)*. Да, на мне.

Рогожин. Покажь-ка сюда. Отдай мне.

Мышкин. Зачем? Разве ты...

Рогожин. Носить буду, а свой тебе сниму, ты носи.

Мышкин. Поменяться крестами хочешь? Изволь, Парфен, коли так, я рад; побратаемся!

Медленно, торжественно обмениваются крестами. Мышкин хочет по-братски поцеловать Рогожина, но тот уклоняется.

Рогожин. Погоди. *(Выдвигает на середину стоящее в углу кресло. Обращается к пустому креслу так, будто бы в нем сидела его мать.)* Матушка, вот мой большой друг, князь Лев Николаевич Мышкин; мы с ним крестами поменялись; он мне за родного брата в Москве одно время был, много для меня сделал. Благослови его, матушка, как бы ты родного сына благословила. Постой, старушка, вот так, дай я сложу тебе руку...

Благословляет Мышкина рукой «матушкой». Князь становится на колени, затем падает ниц перед «матушкой». Тем временем Рогожин садится в кресло, и когда Мышкин поднимает голову, он видит перед собой смеющегося Рогожина.

Рогожин. Вот она ничего ведь не понимает, что говорят, и ничего не поняла моих слов, а тебя благословила; значит, сама пожелала... *(Встает.)* Ну, прощай, и мне, и тебе пора.

Мышкин *(тоже встает)*. Да дай же я хоть обниму тебя на прощанье, странный ты человек!

Рогожин *(раскрыв объятия)*. Небось! Я хоть и взял твой крест, а за часы не зарежу!

Целуются в обе щеки. Несколько секунд стоят, обнявшись. Рогожин смотрит князю в глаза. Внезапно плочет ему в лицо.

Рогожин. Так бери же ее, коли судьба! Твоя! Уступаю!.. Помни Рогожина!

Рогожин садится на диван и оттуда смотрит на князя, ошеломленно стоящего посреди комнаты. Князь вытирает лицо, смотрит на Рогожина, но без злобы.

Рогожин. Чуден ты человек, Лев Николаич, на тебя подивиться надо.

Мышкин. Почему? С чего у тебя такая злоба теперь на меня? Ведь ты сам знаешь теперь, что все, что ты думал, не правда. А ведь я, впрочем, так и думал, что злоба в тебе до сих пор на меня не прошла, и знаешь почему? Потому что ты же на меня посягнул, оттого и злоба твоя не проходит. Говорю тебе, что помню одного того Парфена Рогожина, с которым я крестами побратался; писал я это тебе в письме, чтобы ты и думать обо всем этом бреде забыл и говорить об этом не начинал со мной. Чего ты сторонишься от меня? Чего руку от меня прячешь? Говорю тебе, что все это, что было тогда, за один только бред почитаю: я тебя наизусть во весь тогдашний день теперь знаю, как себя самого. То, что ты вообразил, не существовало и не могло существовать. Для чего же злоба наша будет существовать?

Рогожин. Какая у тебя будет злоба! *(Минуту спустя.)* Я тебя не люблю, Лев Николаич. Эх, князь, ты точно как ребенок какой, захотелось игрушки — вынь да положь, а дела не понимаешь. Это ты все точно так в письме описал, что и теперь говоришь, да разве я не верю тебе? Каждому твоему слову верю и знаю, что ты меня не обманывал никогда и впредь не обманешь; а я тебя все-таки не люблю. Ты вот пишешь, что ты все забыл, и что одного только крестового брата Рогожина помнишь, а не того Рогожина, который на тебя нож подымал. Да почему ты-то мои чувства знаешь? Да я, может, в том ни разу с тех пор и не покаялся, а ты уже свое братское прощение мне прислал. Может, я в тот же вечер о другом совсем уже думал, а об этом...

Мышкин. И думать забыл! Да еще бы! И бьюсь об заклад, что ты прямо тогда на чугунку и в Павловск на музыку прикатил, и в толпе ее следил да высматривал. Эх чем удивил! Да не был бы ты тогда в таком положении, что об

одном только и способен был думать, так, может быть, и ножа бы на меня не поднял. Предчувствие тогда я с утра еще имел, на тебя глядя; ты знаешь ли, каков ты тогда был? Как крестами менялись, тут, может, и зашевелилась во мне эта мысль. Для чего ты меня к старушке тогда водил? Свою руку этим думал сдержать? Да и не может быть, чтобы подумал, а так только почувствовал, как и я... Мы тогда в одно слово почувствовали. Не подыми ты руку тогда на меня (которую Бог отвел), чем бы я теперь пред тобой оказался? Ведь я ж тебя все равно в этом подозревал, один наш грех, в одно слово! «Не каялся!» Да если б и хотел, то, может быть, не смог бы покаяться, потому что и не любишь меня вдобавок. И будь я как ангел пред тобою невинен, ты все-таки терпеть меня не будешь, пока будешь думать, что она не тебя, а меня любит. Вот это ревность, стало быть, и есть. А только вот что я в эту неделю надумал, Парфен, и скажу тебе: знаешь ли ты, что она тебя теперь, может, больше всех любит, и так даже, что чем больше мучает, тем больше и любит. Она этого не скажет тебе, да надо видеть уметь. Для чего она в конце концов за тебя все-таки замуж идет? Когда-нибудь скажет это тебе самому. Иные женщины даже хотят, чтоб их так любили, а она именно такого характера! Знаешь ли, что женщина способна замучить человека жестокостями и насмешками, и ни разу угрызения совести не почувствует, потому что про себя каждый раз будет думать, смотря на тебя: «вот теперь я его измучаю до смерти, да зато потом ему любовью моею наверстаю...»

Рогожин. Ну когда ты так говорил, как теперь? Ведь такой разговор точно и не от тебя.

Мышкин (*внезапно меняет тему*). Слушай, Парфен, я вот сейчас припомнил, что завтрашний день — день моего рождения как нарочно приходится. Теперь чуть ли не двенадцать часов. Пойдем, встретим день! У меня вино есть, выпьем вина, пожелай мне того, чего я и сам не знаю теперь пожелать, и именно ты пожелай, а я тебе твоего счастья полного пожелаю. Не то подавай назад крест! Ведь на тебе? На тебе и теперь?

Рогожин. На мне.

Мышкин. Ну, и пойдем. Я без тебя не хочу мою новую жизнь встречать, потому что новая моя жизнь началась! Ты не знаешь, Парфен, что моя новая жизнь сегодня началась?

Рогожин (*не двигаясь с места*). Теперь сам вижу и сам знаю, что началась: так и ей донесу. Не в себе ты совсем, Лев Николаич!

Наступает тишина. Вдруг князь Мышкин словно о чем-то вспоминает. Он подходит к столу и слегка постукивает по нему. Говорит очень тихо.

Мышкин. Настасья Филипповна у тебя?

Рогожин. У меня.

Мышкин. Где она?

Рогожин (*указывает на портьеру*). Там.

Мышкин. Спит?

Рогожин. Аль уж пойдем!.. Только ты... ну, да пойдем!

Повторяется сцена возле портьеры, но в другой атмосфере, в другом ритме: теперь это атмосфера и ритм безумия. Мышкин возвращается из-за портьеры.

Он не слышит вопросов Рогожина и не отвечает на них, но беспорядочно ходит по комнате, разговаривает сам с собой.

Мышкин. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил — плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: «не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж давно это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось.

Рогожин сперва пытается установить с князем контакт, но видя, что это невозможно, принимается за разные дела: старательно чистит сапоги, зашивает деньги в подкладку куртки, одевается. Действия его явно наводят на мысль о том, что он собирается в дальнюю дорогу (в Сибирь). Тем временем князь Мышкин продолжает свой монолог — все более бессвязный, все более беспорядочный, все более невразумительный.

Мышкин. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот, что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас — душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоизмерно большее наказание чем самое преступление. Убийство по приговору несоизмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избежишь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще все будет надеяться,

но прочтите этому самому солдату приговор наверно, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «ступай, тебя прощают». Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!

Рогожин уже готов. С минуту он смотрит на Мышкина,
который тем временем садится на пол,
сжимается в комок, как ребенок, и что-то шепчет себе под нос,
бормочет нечто нечленораздельное.
Наконец Рогожин подходит к нему,
берет его за руку, и оба уходят со сцены.